

DUCCIO COLOMBO

**Звездочки в Сатурне:
семиотическая война в России и в Советском Союзе**

**Stars in Saturn:
Semiotic war in Russia and in the Soviet Union**

Abstract. Anti-war opposition in today's Russia is often conveyed by encoded graffiti or billboards – a girl was even arrested for showing a blank piece of paper. Everybody, anyway, perfectly understands what is written on a white sheet. To understand the reason we have to look back at the late-soviet times: “Aesopian language” was then so widespread, that people used to catch allegories even where the author did not have the least intention. This can be clearly observed in the history of the Soviet spy-thriller, where in books by the most loyal of authors it is hard not to catch hidden contestant messages: the case of Vasilii Ardamatskii is emblematic. Was “Aesopian language” really a means to make such messages pass behind the eye of the censor? Or, in other words, did the struggle concern the control of the production of messages or rather that of their reception? Soviet power itself often resorted to allegories (what is now commonly called Newspeak): does it mean that the system itself carried the seeds of its own destruction? The opinion exists, on the other hand, that the situation worked in fact for the system: people did not have to believe in what they said, they just had to be taught to lie. If this is true, “Aesopian language” ultimately works for those in power. “Aesopian language” works, as a matter of fact, rather as art does: its concern is a criticism of language, therefore – of the power's linguistic practices.

Keywords: Anti-war protests, Aesopian language, Soviet literature, Vasilii Ardamatskii, Newspeak, *Saturn*

Duccio Colombo, University of Palermo, Palermo – Italy, duccio.colombo@unipa.it, <https://orcid.org/0000-0003-3044-3665>

25 февраля 2022 года в Ростове-на-Дону полиция задержала девушку, стоящую на улице с белым, пустым транспарантом (*V Rostove fotografa are-stovali...*, электронный ресурс). Примечательно в этой истории то, что содержание, подразумеваемое белым листом бумаги, однозначно ясно всем. И если бы даже версия, выдвинутая защитником на суде, что девушка вышла на улицу с пустым плакатом, чтобы побороть свой дискомфорт при общении с незнакомыми людьми (*V Rostove sud ostavil...*, электронный ресурс), была

бы в конкретном случае субъективно обоснованной, это ничего не меняло бы в объективном значении транспаранта.

В России 2020-х годов любой смотрящий на белый плакат будет читать там то же, что в других случаях обозначается восемью звездочками, или, конкретнее, надписью „нет во**е” (тут претензия, выдвинутая на суде, что этим подразумевается „нет воле”, еще менее вероятна, хотя благодаря этой версии подсудимая была сначала оправдана), или надписью „два слова” (Arhipova, Lapšin, электронный ресурс).

Дело, повторяем, не в отдельном случае, не в интенции отдельного производителя отдельного сообщения, которые, как мы видели, могли быть (хотя в конкретных случаях поверить довольно трудно) совершенно иными; дело в своеобразной социокультурной ситуации, в которой эти сообщения получают совершенно определенное значение. Как писал Лев Лосев,

[...] если в литературе определенного периода некоторые поэтические приемы очень часто применяются как эзоповские, это приводит к тому, что читатель не только обучается постоянной алертности и беглости в дешифровке ЭЯ, но и, в силу своеобразной инерции, зачастую читает как эзоповские тексты, в которых использованы эти приемы или сюжеты, сходные с инвариантными сюжетами ЭЯ, хотя никакая тайнопись не входила в намерения автора (Losev 168).

Не случайно для объяснения происходящего сегодня приходится прибегнуть к книге о советской литературе (хотя в конкретном случае Лосев приводит пример, относящийся к позднему XIX веку). И не случайно, вероятно, что русский вариант этой книги вышел именно в этом году. Для того, чтобы объяснить, почему в сегодняшней России на белом листе бумаги читается, не может не читаться именно антивоенный лозунг, необходимо возвратиться к брежневским годам. Теперешняя ситуация с этой точки зрения сильно напоминает позднесоветскую; обращение к истории эзопова языка в советском прошлом может помочь лучшему пониманию происходящего сегодня, а с другой стороны, взгляд из сегодня может помочь лучше понять культурную ситуацию (поздне)советского периода. При этом, ввиду традиционной литературоцентричности русской культуры именно история литературы (и окололитературных институтов) может помочь выяснить то, что происходит сегодня (когда эта литературоцентричность, вероятно, хотя бы частично преодолена) и в далеких от литературы сферах. Для этого требуется, как полагается, пересмотр общепринятой семиотической модели эзоповского сообщения.

* * *

В Советском Союзе 1960–70-х годов, когда „любимым занятием [была] расшифровка аллегорий и чтение между строк. Самым распространенным

языком – эзопов” (Vajl', Genis 253–254), привычка к эзоповскому чтению дошла до того, что авторы теряли способность определять интерпретацию собственных текстов. Здесь выдвинутое Александрой Архиповой понятие „гиперсемиотизация” („читатель, особенно бдительный и внимательный, легко может впасть в состояние, когда он будет видеть маркеры там, где автор их не расставлял”, Arhipova 31)¹, кажется, недостаточно. „Читатель, – продолжает Архипова, – легко может впасть в гиперсемиотизацию, особенно в том случае, когда он знает, что все вокруг – лишь экран!” (Arhipova 31). Дело не в неправильном прочтении читателем некоторых сообщений, а в не зависящих от производителей изменениях в их общепринятом значении.

Постараемся прояснить этот тезис на конкретном материале. Особенно внушительный пример – впечатляющий ряд текстов о нацистской Германии, ставшей одной из излюбленных тем советской массовой культуры, начиная с 1960-х годов. Как пишет Лосев:

Принципиальная аналогичность проявлений деспотизма в деспотических обществах, при том что зачастую они находились и находятся в состоянии острой политической конфронтации (например, Россия и Германия в первой половине 1930-х и в 1940-е годы, Россия и Китай в наши дни), всегда создавала зону свободы для эзоповского творчества (Losev 117).

Итак, в одном советском детективе встречается следующее:

В зале, где Геббельс произносил эту речь, сидели отпетые головорезы эсэсовских банд. Они чуть ли не после каждой фразы Геббельса устраивали овации, похожие на рев раненых слонов. В газетах речь пестрела ремарками „овация”, „бурная овация”, „громоподобная овация”, „грандиозный восторг и воодушевление, возгласы «Хайль Гитлер!»” и тому подобное. Геббельс, конечно, достаточно хорошо был осведомлен о действительном положении вещей, и тем страшнее была ложь, которой была насыщена каждая фраза его выступления (Ardamatskij 1964: 506).

Здесь естественно воспринимать ремарки об аплодисментах в газетной редакции речи как намек на подобные же ремарки, которыми пестрели в печати стенограммы выступлений советских вождей (см. Mokienko, Nikitina 38), следовательно, по терминологии Лосева, как „маркеры”, указывающие на то, что истинный предмет не нацистская Германия, которая, по этой логике, не более чем „экран”, закрывающий от глаз цензора истинный смысл абзаца, а рассуждение о публичном советском дискурсе („тем страшнее была ложь, которой была насыщена каждая фраза”).

¹ См. также Arhipova, Kirzûk 83–86.

Проблема в том, что, имея в виду автора романа Василия Ардаматского, вполне правоверного советского журналиста и литературного функционера, известного крайне злобным антисемитским фельетоном *Пиня из Жмеринки* (1953), подобная интерпретация становится сомнительной. Сомнительна, точнее, интенция автора: у читателя, привычного, приученного к эзоповским сочинениям, сомнений не могло быть. Как пишет Лосев, „в различных социально-исторических обстоятельствах одно и то же произведение то обнаруживает черты эзоповского метастиля, то нет” (Losev 90); среди обстоятельств, влияющих на чтение, присутствуют, несомненно, внетекстовые знания, в том числе и о позиции автора.

С этой точки зрения интересным образцом для анализа является роман Ардаматского „*Сатурн*” *почти не виден*, вышедший в 1963 году. Несмотря на то, что известно об авторе², он содержит целый ряд мест, где трудно не уловить скрытые намеки. В первой же главе упоминается Колыма, притом как место, куда людей отправляют ни за что:

- По бумагам я числюсь отсюда дальше далекого, аж за самой Колымой. [...] А те далекие места я не сам выбирал.
- Как это не сам?
- Так меня, извините, сослали...
- Чего ж вы сразу не сказали, все тянете! Ну, а за что же?
- За что? Как вам сказать... Работал я на лесозаводе под Казанью, подносчиком считался. И вдруг пожар, завод возьми да сгни. НКВД, конечно, тут как тут. Вредительство, говорят. И нас, восьмерых рабов божьих, кто в ту смену работал, в ссылку.
- И вас судили?
- Ни-ни, ни синь пороуху. Поспрошали вот, как вы сейчас. А потом сразу в поезд, в вагон с решеткой – и ту-ту...
- У вас есть справка?
- Вы меня просто смешите, господин начальник. Постройте в одну линию все наше население и прикажите: кто имеет на руках какую-нибудь справку из НКВД, тот пусть сделает шаг вперед и получит миллион рублей. Ни один не выйдет, жизнь кладу. Факт. НКВД, господин начальник, не справки давал, а сроки (Ardamatskij 1964: 14–15).

² Кстати, годом раньше Ардаматский опубликовал повесть *Безумство храбрых* об узниках немецкого концлагеря. Эта тема, согласно Владимиру Войновичу, была запрещенной, потому что немецкие лагеря „безусловно напоминали читателю о лагерях отечественных” (Vojnovič 168). Там встречаемся с этим абзацем: „Баранников так и уснул, держась за горячую Демкину руку. В эту ночь ему приснилось, будто он идет по своему уральскому городу и идет за руку сына Витьку. А навстречу им медленно движутся серые колонны заключенных” (Ardamatskij 1971: 54). Это сон советского узника в немецком лагере; но сон весьма реалистичен – именно на Урале вероятность встретить колонны заключенных была, должно быть, довольно высокой и до войны, вряд ли ребенок удивился бы...

По контексту кажется, что это – допрос немецкими оккупантами советского гражданина, предложившего свои услуги. А спустя пару страниц мы узнаем, что это – советский агент, готовящийся к внедрению в тыл к врагу и практикующий свою легенду. А как понимать намеки на отношения с НКВД „всего населения”, или шутку о том, что „НКВД не справки давал, а сроки?” Неужели это только легенда, составленная для того, чтобы обмануть немцев?

Впрочем, у всех героев романа Ардаматского, действие которого вращается вокруг деятельности ряда советских агентов, внедренных в „*Сатурн*” (структуру немецкого абвера, занимающуюся разведкой и диверсией в советском тылу) есть легенды, все они ведут двойную жизнь. Один из них выдает себя за волжского немца, решившего внимать „голосу крови”³. Немецкие офицеры, верящие в эту версию, комментируют:

Зомбах подумал и сказал Мюллеру: – Между прочим, мы эту большевистскую республику немцев Поволжья, как резерв кадров, использовали плохо.

– Об этих наших интересах, – сказал Мюллер, большевики своевременно подумали и приняли меры. Республика эта стала для нас недоступной (Ardamatskij 1964: 156).

Сегодня известно, какие именно меры сталинское правительство приняло по отношению к немецкой автономной республике и к ее населению. Их упоминание в контексте романа может быть интерпретировано как их оправдание (см. Colombo 85) – оправдание депортации женщин, стариков и детей по национальному признаку; самый факт упоминания волжских немцев и их, ко времени появления романа уже двадцать лет не существующей, автономной республики, однако, может быть воспринято, наоборот, как смелый нравственный поступок, как тонкий прием в борьбе за передачу запрещенной информации: „Сведения о спецпереселениях, а также термины «спецпереселение», «спецпереселенцы», «спецпоселение»” еще в 1976 году фигурировали в изданном Главлитом *Перечне сведений, запрещенных к опубликованию в открытой печати (Perečen' svedenij, zaprešennyh... 97)*⁴.

Роман Ардаматского – интересный пример, потому что, среди прочего, в нем инсценировано множество случаев иносказания, косвенной коммуникации. Но он отнюдь не исключение. На похожие сомнения, напри-

³ Это тоже может быть антисемитский намек (см. Colombo 85), хотя, с другой стороны, здесь это способ обманывать врага (об антисемитизме которого лучше в этом контексте не вспоминать).

⁴ Тема эта еще сегодня остается (или вновь стала) особенно взрывоопасной, как доказывает история с цензурными мероприятиями вокруг детской повести Ольги Колпаковой *Полынная елка*, рассказывающей именно о судьбе спецпереселенцев немецкого происхождения. (См. Tret'akova, электронный ресурс).

мер, наводит и ряд мест в *Щите и мече* (1965) Вадима Кожевникова, еще один автор, лояльность которого к режиму не подлежит сомнениям (см. Colombo 242–249). Как у Ардаматского, так и у Кожевникова, кстати, явная цель – восстановление репутации органов государственной безопасности, расшатанной откровениями Хрущева на XX съезде и выходом *Одного дня Ивана Денисовича*. Такое же намерение было, как доказано, и у автора *Семнадцати мгновений весны* (романа и телесериала) Юлиана Семенова (не тайна, что это произведение – выполнение прямого заказа Юрия Андропова⁵), у которого, с другой стороны, частое употребление эзопова языка не вызывает сомнений.

Невероятная популярность Семенова (феномен, к которому мы вернемся), кстати, очень вероятно влияет на сегодняшнее прочтение Ардаматского или Кожевникова. Здесь дело, повторяем, не в намерениях авторов, а в объективном значении их произведений. В каждом конкретном случае речь может идти о гиперсемиотизации, о превратной интерпретации авторской воли, а в крупном плане воля эта теряет значение. Терминологии для описания такого положения, кажется, не существует. Хотелось бы предположить, подражая Пьеру Бурдьё, что речь идет о борьбе за контроль семиотического рынка. Или, имея в виду „эпидемию гиперсемиотизации” в 1930-е годы (Arhipova, Kirzûk 83–87), имеет смысл говорить об эпохе, когда болезнь стала эндемической?

Тот же механизм работал и в обратном направлении, цензура занималась не только намеренными эзоповскими ассоциациями. Как пишет Владимир Войнович, „в журналах и книгах редакторы больше всего беспокоятся о подтексте, то есть о сознательно протаскиваемых автором намеках или ассоциациях, которых автор не предвидел” (Vojnovič 168). Пример, который он приводит, впечатляющий: в первой серии советского телевизионного *Шерлока Холмса*, в сцене первого знакомства героев, Холмс догадывается, что доктор Уотсон служил „на Востоке”. В первоначальном варианте сценария (да и в снятом фильме, который в окончательном варианте был переозвучен, см. *Pereozvučennye frazy...*, электронный ресурс), как и в повести, речь идет конкретно об Афганистане. Вряд ли авторы сценария (эпизод был снят в течение 1979 года, а сценарий был, очевидно, написан и раньше) могли бы сознательно намекнуть на присутствие в стране советских войск (решение политбюро об их вводе датировано 12 декабря 1979 г.); в любом случае, об этом не мог намекать Конан Дойл. Несмотря на это цензура (официальная или редакторская) сочла, очевидно, замену необходимой.

⁵ Председатель КГБ СССР в 1967–1982 (прим. ред.)

* * *

Во Введении к онлайн выставке „Нет вoble!” Уличное антивоенное анонимное искусство в России 2022/2023 – Виртуальная выставка Архипова и Юрий Лапшин называют авторов антивоенных граффити (таких, с которых мы начали), „слегка перефразируя Умберто Эко”, „семиотическими партизанами”. Уместно напомнить, что Эко предложил этот термин („*guerriglia semiotologica*”), имея в виду не столько производство текстов, сколько борьбу за их интерпретацию:

Обычно политические деятели, учителя, исследователи коммуникации, думают, что для того, чтобы взять под контроль власть СМИ, необходимо взять под контроль два момента коммуникативной цепи: Источник и Канал. Таким образом они думают, что под контролем будет сообщение; а на самом деле под контролем будет сообщение в виде пустой формы, которую каждый Реципиент будет наполнять значениями, подсказанными собственным антропологическим состоянием, собственной культурной моделью. Стратегическое положение заключено в фразе: „надо занять кресло президента государственной телекомпании”, или „надо занять кресло министра информации”, или еще „надо занять кресло директора „Коррьере делла сера”. Не отрицаю, что подобная стратегическая установка способна дать превосходные успехи тому, кто стремится к политическому и экономическому превосходству, но боюсь, что тому, кто надеется вернуть людям некую свободу по отношению к глобальному явлению Коммуникации, она даст результаты весьма скудные. Поэтому в будущем стратегическому решению надо будет придать партизанское решение. Надо занять везде в мире первое кресло перед каждым телевизором (и естественно, кресло лидирующей группы перед каждым киноэкраном, перед каждой радиоточкой, перед каждой газетной полосой). Если требуется менее парадоксальная формулировка, скажем так: битва за жизнь человека как ответственного существа в Эру коммуникаций будет выиграна не там, откуда коммуникация идет, но там, куда она направлена [перевод с итальянского мой – Д.К.] (Есо 396).

Согласно такой логике, то, что белый плакат читается как антивоенный, как и то, что в романах, заказанных КГБ, читаются весьма нелестные намеки на советский строй, должно значить, что в этой борьбе оппозиция одержала победу. При том надо отметить, что в создании такой ситуации, в приучении читателя к дешифровке иносказаний, официоз тоже играл значительную роль.

Как говорилось выше, не тайна, что цель „*Сатурна*” Ардаматского – реабилитация органов государственной безопасности. Способ этой реабилитации, однако, несколько косвенный. В изданиях 1960–70-х годов книга открывается следующим посвящением:

Эту повесть автор посвящает памяти советских разведчиков, погибших на незримом фронте Великой Отечественной войны. Подвиги живых и память о погибших молчаливо хранит архив.

Нарушим молчание. Теперь это сделать можно. Возьмем одну из папок, страхнем с нее пыль времени. Начнем читать документы. И вот мы уже слышим живые голоса и видим героев повести (Ardamatskij 1964: 3).

Почему „теперь это сделать можно”? Что раньше мешало? Дело только в секрете, касающемся работы тайных агентов, или здесь намек на политическую ситуацию?

В последней главе перед эпилогом группа советских разведчиков уже благополучно вернулась в Москву. Их начальник, Марков, задумывается:

Все-таки замечательная профессия – разведчик. Вечно воюющие солдаты Родины. Они погибают, даже когда на земле нет войны. Вдруг вспомнился Коля Крымов, вместе с которым они по комсомольской мобилизации пришли в ЧК. Перед войной Крымов работал в Германии. Еще в начале сорок первого года он начал присылать донесения о готовящемся Гитлером нападении на Советский Союз. Ему в грубой форме отвечали, что он вместо достоверной информации собирает провокационные слухи. Крымову не поверил Сталин – человек, который был для него чуть ли не богом. И в день, когда гитлеровские банды ринулись через нашу границу, Коля Крымов застрелился. Там, в Берлине... (Ardamatskij 1964: 630–631).

Автор здесь явно намекает на то, что момент, когда о разведчиках можно говорить всю правду, настал после речи Хрущева на XX съезде, что и гэбэшники – жертвы режима (у Всеволода Кочетова тем, кто отказался слушать предупреждения о нападении немцев, был уже Лаврентий Берия). А этот тезис подается все-таки иносказательно, средствами эзопова языка или похожими на них.

Даже в фельетоне *Пиня из Жмеринки*, хотя он, несомненно, злобная антисемитская выходка, особенно заметный ход в позднесталинской антисемитской кампании, слово „еврей” не появляется ни разу. Маркерами здесь служат имена и фамилии:

В свой промкомбинат Пиня Палтинович на должность начальника химцеха взял Давида Островского. Соответственно, сын Давида стал агентом по снабжению. Рахиль Палатник расположилась за столом главного бухгалтера. Соответственно, зять сей Рахили, Шая Пудель, стал её заместителем. Плановиком стала Роза Гурвиц, а муж её стал начальником снабжения. Шурин Пини Палтиновича, Зяма Мильзон, занял позицию в хозяйственном магазине. В других местах расположились Яша Дайнич, Буня Цитман, Шуня Мирончик, Муня Учитель, Бенья Рабинович, Исаак Пальтин и другие (Ardamatskij 1953).

Еще в тексте находятся намеки на „совершение религиозного обряда” (не указано, требующего ли крови младенца) и на то, что герой „воевал в Ташкенте” (один из самых распространенных антисемитских мифов).

Слово „еврей”, кстати сказать, одно из наиболее прочных табу в советском публичном дискурсе. Как писал Бенедикт Сарнов,

в официальном советском новоязе лицемерие, лежащее в основе замены неудобопроизносимого слова эвфемизмом, было главной, в сущности, даже единственной причиной такого уклончивого словоупотребления.

Официальный советский новояз исключил из своего лексикона слово „еврей”, заменив его разного рода эвфемизмами (сперва – „космополиты”, позже – „сионисты”), по той простой причине, что все эти эвфемизмы носили ярко выраженный осуждающий, разоблачительный характер. Все они были *политическими ярлыками*, (такими же, как в более ранние времена – „троцкист”, „враг народа”, „левый уклонист”, „правый уклонист” и т. п.). Наклеивать же ярлык врагов народа на *всех евреев* до поры до времени было невозможно: это никак не укладывалось в рамки пролетарского интернационализма, верность которому – хотя бы на словах – необходимо было сохранять (Sarnov 291).

Дело в том, что „новояз” и эзопов язык, в сущности, явления одного порядка. Эвфемизм в обоих практиках – излюбленный прием и альтернативное название явления как такового⁶; в обоих случаях речь идет об иносказании, о перифразе, о замене прямого слова неким субститутом. Оба явления существуют в одном и том же пространстве и конкурируют за владение им. Как писал Джеймс Скотт,

it is clear that the frontier between the public and the hidden transcripts is a zone of constant struggle between dominant and subordinate – not a solid wall. The capacity of dominant groups to prevail – though never totally – in defining and constituting what counts as the public transcript and what as offstage is, as we shall see, no small measure of their power (Scott 14).

Политическую борьбу в современной России можно представить в виде конкуренции „звездочек” с буквой „z”.

Значит ли это, что система содержала (содержит) в себе зерно своего разрушения? Майкл Холквист, например, указывает на положительный ответ:

One of the ironies that define censorship as a paradox is that it predictably creates sophisticated audiences. The reader of a text known to be censored cannot be naive, if only because the act of interdiction renders a text parabolic (Holquist 14).

⁶ Ср.: „Les discours sont toujours pour une part des euphémismes [...] des formations de compromis, résultant d’une transaction entre l’intérêt expressif (c’est qui est à dire) et la censure inhérente à des rapports de production linguistique particuliers” (Bourdieu 78). „Живой эвфемизм, игравший колоссальную роль в структуре языка Третьей империи” (Klemperer 161); „Ведь ЛТИ – язык тюрьмы (язык надзирателей и заключенных), а в тюремном жаргоне непременно присутствуют (как результат самообороны) слова с тайным значением, вводящие в заблуждение многозначные выражения, слова-обманки и т. д. и т. п.” (Klemperer 109). „Thus political language has to consist largely of euphemism, question-begging and sheer cloudy vagueness” (Orwell 281). Хью Ранк начинает свое критическое обсуждение слишком упрощенных высказываний о „doublespeak” с „our most maligned technique, the euphemism” (Rank 223).

Остается, однако, объяснять, почему при такой, в сущности, оптимистической картине, советский строй держался так долго.

* * *

Вернемся к определению эзопова языка: действительно ли это попытка обмануть цензора, протащить некую информацию к читателю помимо его взгляда? Следуя такому определению, Стивен Ловелл так комментирует многочисленные эзоповские намеки, улавливаемые в сериале *Семнадцать мгновений весны*:

Съемки „Семнадцати мгновений весны” неотступно контролировал КГБ, реальный спонсор сериала, но при этом в фильме оставалось место и для интеллигентности, и для иронического прочтения, что Андропов, несомненно, возненавидел бы, если бы это пришло ему в голову (Lovell, электронный ресурс).

Возможно ли себе представить, что Андропов этих намеков просто не улавливал? Или вернее думать, что он все это прекрасно понимал, но по каким-то причинам эзоповское измерение сериала было для него приемлемо?

Интересная инсценировка подобного положения вещей находится в песне Владимира Высоцкого *Прошла пора вступлений и прелюдий...* Лирический герой вызван „каким-нибудь ответственным товарищем” исполнить песню *Охоту на волков* (особенно наглядный, и, следовательно, прозрачный пример эзопова языка) у него в кабинете. „Товарищ”, оказывается, отнюдь не обманут „экраном”:

Он выпалил: „Да это ж – про меня!
Про нас про всех, какие, к черту, волки!” (Vysockij 134).

Этими словами герой подвергается в страх. А, оказывается, ничего с ним не происходит – просто все больше и больше „больших людей” желают слушать его песню:

...Ну всё, теперь, конечно, что-то будет –
Уже три года в день по пять звонков:
Меня к себе зовут большие люди,
Чтоб я им пел „Охоту на волков” (Vysockij 134).

Встречаются, конечно, случаи, когда цензура вырезала из текстов эзоповские намеки; но параллельно, оказывается, были и случаи, когда официоз этих самих намеков особенно не пугался. Когда он даже был не прочь сам вступить в игру.

Если принимать во внимание его связанность с новоязом, можно даже утверждать, что эзопов язык, в конце концов, может работать на систему, а не против нее. В советской системе, как было замечено, важна была не столько идеология, столько соблюдение ритуала. Так об этом пишет Алексей Юрчак:

Многие из тех, кто в эти годы занимал руководящие посты в местных комсомольских или партийных организациях, рассказывают, что, подготавливая идеологические отчеты, организуя политические аттестации или проводя политические собрания, они прекрасно понимали, что *буквальный* смысл этих ритуалов и текстов был не так важен, как четкое воспроизводство их формы – стандартного языка, процедуры, отчетности и так далее... (Ůrčak 74).

Вацлав Гавел утверждал, что для того, чтобы поддержать систему,

человек не обязан всем этим мистификациям верить. Однако он должен вести себя так, словно верит им [...]

Уже хотя бы поэтому человек вынужден жить во лжи. Он не должен принимать ложь. Достаточно, что он принял жизнь, которая неотделима от лжи и невозможна вне лжи. Тем самым он утверждает систему, реализует ее, воспринимает ее, является ею (Gavel 225).

Согласно этой версии, самое участие в игре, объективно, действует как поддержка системы⁷.

* * *

Вопрос о хронологии здесь играет немаловажную роль. Гавел говорит о „посттоталитарной” системе, Юрчак же о „позднесоветской” ситуации, где после смерти Сталина происходила „реорганизация всего *дискурсивного режима социализма*”, вследствие чего „постепенно становилось важнее воспроизводить точную структурную *форму* идеологических высказываний и ритуалов, чем слишком подробно вдаваться в их буквальный смысл” (Ůrčak 52).

Лосев близок к подобной интерпретации там, где он касается индивидуального стиля Евгения Евтушенко:

То, что Евтушенко, апостол двусмысленного эзоповского стиля, стал центральной поэтической фигурой периода, вполне оправдано исторической ситуацией, когда новое поколение руководства (Хрущев и его группа) стремилось разделяться с авторитетом предшествующего поколения, не разрушая при этом идеологических устоев режима [...].

⁷ Ср.: „В современных обществах, будь то демократических или тоталитарных, такая циническая дистанция, смех, ирония выступают, так сказать, частью принятых правил игры. Господствующая идеология не предполагает серьезного или буквального отношения к себе. Возможно, самую большую опасность для тоталитаризма представляют люди, следующие его идеологии буквально...” (Žižek 35).

Сама новая идеологическая политика послесталинского руководства была по своей природе двусмысленна, ибо означала не радикальный разрыв со старой идеологией, а лишь некоторое видоизменение ее. Отсюда – „закрытость” идеологических докладов Хрущева, частые смены либеральных „оттепелей” и реакционных „заморозков” в партийной политике руководства искусством и литературой, в определенных рамках двусмысленные в идеологическом отношении художественные тексты были вполне адекватны созданной в стране политической атмосфере (Losev 188).

Популярность Евтушенко объясняется, таким образом, созвучием эпохе его индивидуальной манеры, так что „когда в 1970-е годы русская поэзия вернулась к своим традиционным образцам – гражданственному и аполлоническому, начался упадок популярности Евтушенко” (Losev 205). Стоит, однако, напомнить, какую роль в карьере Евтушенко играло стихотворение *Бабий Яр*, которое ни двусмысленным, ни тем более эзоповским не назовешь. И что именно в 1970-е годы культурным героем стал двойной агент Штирлиц, именно своей двойственностью олицетворяющий, как убедительно показал Марк Липовецкий, важную составляющую в самоощущении тогдашнего советского человека.

Период хрущевской оттепели начался, в литературе прежде всего, под знаком искренности. Примечательно, что Лосев упоминает как пример эзоповского текста статью Владимира Кардина *Легенды и факты* („Новый мир”, 1966) – „молчаливый эзоповский вызов всей системе, в основании которой лежит идеологическая ложь” (Losev 138). Статья Кардина, при этом – своеобразный манифест новой оттепельной документальной литературы, опровергающей традиционную соцреалистическую мифологию. Экран – то, что делает произведение эзоповским, согласно Лосеву – и есть самая форма литературно-критического обзора: „Критическое обозрение превратилось в художественную аллегория” (Losev 138). Лосевская интерпретация, несомненно, правильна – невозможно иначе объяснить тот факт, что сам генсек реагировал на литературно-критическую статью на собрании политбюро (см. „Iz rabočiŭ zapisej...” 112). Таким парадоксальным образом, сам вызов к искренности, к прямоте, прозвучал в форме двусмысленной.

Несмотря на эти противоречия, эпоха оттепели проходила все-таки, повторяем, под знаком искренности. Не то брежневское безвременье, когда, после ввода советских войск в Чехословакию (по Петру Вайлу и Александру Генису, точка, обозначающая конец коммунистической идеологии, превративший Советский Союз из центра международного движения, призванного изменить целый мир, в империю, занятую только собственным воспроизведением)

советская культура пережила шок. Она вынуждена была пересматривать свои ценности, приспособляя их к новой модели советского человека. Переворот от идеала гражданина к реальности подданного требовала других этических и эстетических норм. Интеллигенция оказалась в плену империи (Vajl', Genis 285).

В плену империи интеллигенция оказалась вынуждена вести двойную жизнь и окончательно приняла иносказание на место искренней исповеди.

Все это изменилось в годы перестройки, когда искренность снова стала девизом. Примечательно, что в романе 1989 года *Отчаяние*, ставшем последним в цикле о Штирлице, Семенов уже не прибегает к эзоповским намекам – Штирлиц здесь арестован не гестапо, а МГБ и содержится во внутренней тюрьме Лубянки (и читатель узнает, должно быть, с некоторым удивлением, что он всегда относился с некоторым скептицизмом к сталинскому режиму, см. Colombo 238–239)⁸.

После чего, по меткому выражению Липовецкого, „российское коллективное бессознательное выбрало Штирлица в президенты” (Lipoveckij, электронный ресурс). Русский человек начал путь обратно в „*Сатурн*”, к роли двойного агента. Этот процесс был постепенный, однако после февраля 2022 года произошло заметное ускорение – появляются даже признаки возвращения цензуры на книжный рынок (см. Ūzefovič, электронный ресурс); наказанию сегодня подлежит тот, кто называет войну войной, а не „специальной военной операцией”, а оппозиция выражается главным образом звездочками.

От этого следует заманчивая возможность представить историю русской литературы последнего столетия в виде периодической смены волн „искренности” и иносказания. Отдавая себе отчет в том, что опасность упрощения налицо, хотелось бы все-таки указать на объясняющий потенциал такой модели, хотя не обязательно принимать ее как абсолютной истины. Не ясно, кстати, что делать с культурой сталинской эпохи, где случаи эзоповской коммуникации имели место, как и, с другой стороны, элементы ритуала в официальном дискурсе, но трудно себе представить, чтобы власть иносказание поощряла⁹.

* * *

Нужно ли заключить из всего этого, что „эзопов язык” объективно работает „на власть”, которая поощряет его применение, равноценное приятию ему же заданных правил игры, превращающее любого высказывающегося

⁸ Не лишне напомнить, имея в виду феноменальную изворотливость Семенова, что некоторые „эзоповские” интерпретации его текстов подсказаны им самым (или его же дочерью, написавшей биографию отца) и могут служить тому, чтобы задним числом очистить его репутацию от связей с органами.

⁹ Здесь можно наблюдать аналогию между отношением властей к эзоповским сообщениям и их отношением к городским легендам: „В новые «вегетарианские» времена за слухи и анекдоты почти перестали сажать, однако идеологические работники стали использовать логику распространения городской легенды в своих целях” (Arhipova, Kirzûk 208).

таким образом в участника такой игры? Таково, вероятно, положение моралистов-максималистов – вспоминаем, по этому поводу, Солженицына:

[...] считаю я, что в тридцатые, сороковые и пятидесятые годы литературы у нас не было. Потому что безо всей правды – не литература. Сегодня мерзость показывают в меру моды – обмолвкой, вставленной фразой, довеском, оттенком, – и опять получается ложь (Solženicyн 509).

При подобной точке зрения, конечно, эстетическое качество литературы не имеет ни малейшего значения. Оно не имеет значения, по наблюдению Лосева, и для цензуры, которая *„рассматривает литературные тексты как не-литературные*. Если мы вообразим некоего идеального Цензора, то для него художественный текст не является художественным” (Losev 57)¹⁰. Остается только добавить, что цензор, со своей точки зрения, в большинстве случаев совершенно прав.

Здесь, может быть, играет роль та же традиционная русская „литературоцентричность”, явление в свою очередь двойственное. С одной стороны, литература в центре общественного внимания, а с другой – литературному произведению трудно избежать обвинения в политической нелояльности, ссылаясь на эстетическую свободу. Или главную роль здесь все-таки играет специфически советское понимание искусства? В „Сатурне” Ардаматского встречается замечательное его определение. Еще один советский агент готовится к внедрению в тыл к врагу; „легенда”, которую он должен о себе рассказывать, тщательно подготовлена и отрепетирована.

Но одно дело – схема версии сама по себе, самое трудное – уверенно жить по этой схеме, всегда помня великое множество деталей выдуманной биографии. Кроме того, нужно быть актером, и таким жизненно правдивым, чтобы зритель – враг – не мог и подумать, что видит игру, а не самую жизнь. Вот где та „правда жизни”, которую иной раз так ищут в театре. От этой правды зависит: жить или умереть этим безымянным героям – актерам (Ardamatskij 1964: 122).

¹⁰ „Эта феноменологическая проблема текста является камнем преткновения на процессах писателей-диссидентов в СССР, начиная с процесса Синявского и Даниеля в 1965 году: обычно адвокаты занимают структуралистскую позицию – высказывания персонажей, в том числе и рассказчика (авторского «Я»), нерелевантны по отношению к политической деятельности автора, а прокуроры явно склоняются к идеалистической позиции, отказываясь признать структурную многоликость текста и рассматривая его как некую «вещь в себе» («мы судим не за литературную деятельность, а за написанную рукой этого человека клевету на советский строй...»). К сожалению, структурализму до сих пор не удалось еще выиграть ни одного политического процесса в СССР” (Losev 58–59, прим. 1).

Одна из основных категорий советской эстетики (не только, конечно, театральной), „правда жизни”, редуцируется здесь до функции маскировки, грима, способа обмануть реципиента (врага). Этот абзац возможно читать как описание работы эзопова языка, если в качестве „врага” принимать цензора – в таком случае, конечно, цензор имеет полное право принимать сообщение как „не литературное”. Возможна и интерпретация совершенно противоположная, согласно которой лояльный писатель Ардаматский проговорился и эксплицировал конечную функцию советской литературы – обмануть читателя, заgrimировав идеологический текст под художественный.

В своем предисловии к русскому изданию работы Лосева Архипова называет такие явления, как, например, изображение звездочек вместо антивоинных лозунгов, „метаэзоповым языком”:

Это намеренное использование простого кода, обращенного не к незаметному читателю в тиши кабинета или в темноте тюремной камеры. Нет, читатель тут – это вся улица, включая и цензоров. Нарочитое использование иносказаний – это способ привлечь внимание публики, прокричать: „Смотрите, у нас свобода слова подавляется настолько, что нам приходится использовать экраны и маркеры, чтобы высказать то, что мы думаем. Так подавитесь же своим эзоповым языком!” [...] Экран становится прозрачным, маркер заметным. Ровно так же поступают те россияне, которые рисуют на своих плакатах восемь звездочек вместо всем известной фразы и выходят к публичным местам (Arhipova 49).

Можно возразить, что эзопов язык в литературе (а не в письмах из тюрьмы, например) почти всегда „метаэзопов”. Сомневаться, то есть, в том, что его прямая функция – пронести сообщение к читателю мимо взгляда цензора. Как пишет Лосев в заключении,

все эзоповское в художественной литературе как раз и основывается на взаимном обладании автора и читателя (адресанта и адресата) одной и той же информацией. [...] Бессодержательные с точки зрения магматической [from a pragmatic standpoint] информативности, эзоповские тексты художественной литературы подтверждают со всей очевидностью общий тезис формалистов, Бахтина и Выготского: в искусстве форма (код) есть содержание (Losev 227).

Эзопов язык служит не передаче информации, а критике авторитарных языковых практик. Это, по Якобсону, Язык (не только в прямом, но и в переносном смысле) в своей эстетической функции, то есть, обращенной к себе самому.

Что, конечно, не имеет ничего общего с представлением о том, что художник живет в башне из слоновой кости и его работа общества не касается. Он просто работает скорее не прямо над общественными процессами, а над средствами коммуникации, которые на общественные процессы еще как влияют – на столе тут „the power to call a cabbage a rose and to make it stick in the public sphere...” (Scott 55).

References

- Ardamatskij, Vasilij. *Bezumstvo hrabryh. Bog, mister Glen i Ŭrij Korobcov. Povesti*. Moskva, Detskâ literatura, 1971.
- Ardamatskij, Vasilij. „Pinâ iz Źmerinki”. *Krokodil*, 20.03.1953, s. 13.
- Ardamatskij, Vasilij. „*Saturn*” počti ne viden. Moskva, Molodaâ gvardiâ, 1964.
- Arhipova, Aleksandra. „Sovetskie tajnye âzyki”. Lev Losev. *Ėzopov âzyk v ruskoj literature*. Moskva, Novoe Literaturnoe Obozrenie, 2024, s. 6–49.
- Arhipova, Aleksandra, Anna Kirzûk. *Opasnye sovetskie veši. Gorodskie legendy i strahi v SSSR*. Moskva, Novoe literaturnoe obozrenie, 2020.
- Arhipova, Aleksandra, Ŭrij Lapšin. „*Net voble*”: uličnoe antivoennoe anonimnoe iskusstvo v Rossii 2022–2023. Web. 12.09.2024. <https://www.nowobble.net/intro/>.
- Bourdieu, Pierre. *Ce que parler veut dire. L'économie des échanges linguistiques*. Paris, Fayard, 1982.
- Colombo, Duccio. *The Soviet spy thriller. Writers, power, and the masses, 1938–2002*. New York, Peter Lang, 2022.
- Eco, Umberto. *Il costume di casa. Evidenze e misteri dell'ideologia italiana*. Milano, La nave di Teseo, 2024.
- Gavel, Vaclav. „Sila bessil'nyh”. *Moral' v politike. Hrestomatiâ*. Red. Boris Kapustin. Moskva, Knižnyj dom „Universitet”, 2003, s. 215–311.
- Holquist, Michael. „Corrupt originals: The paradox of censorship”. *PMLA*, 109 (1), 1994, s. 14–25.
- „Iz rabočih zapisov Politbûro: «Dogovarivaûtsâ do togo, što ne bylo zalpa „Avrory”», *Istočnik*, 2, 1996, s. 111–121.
- Klemperer, Viktor. *LTI. Âzyk tret'ego rejha. Zapisnaâ kniŹka filologa*. Moskva, Progress-Tradiciâ, 1998.
- Lipoveckij, Mark. „Iskusstvo alibi: «Semnadcat' mgnovenij vesny» v svete našego opyta”. *Nepriksnovennyj zapas*, 3 (53), 2007. Web. 12.09.2024. <https://magazines.gorky.media/nz/2007/3/iskusstvo-alibi-semnadcat-mgnovenij-vesny-v-svete-nashego-opyta.html>.
- Losev, Lev. *Ėzopov âzyk v ruskoj literature*. Moskva, Novoe Literaturnoe Obozrenie, 2024.
- Lovell, Stiven. „«Semnadcat' mgnovenij vesny» i semidesâtye”. *Novoe Literaturnoe Obozrenie*, 5 (123), 2013. Web. 12.09.2024. https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/123_nlo_5_2013/article/10624/.
- Mokienko, Valerij Mihajlovič, Tat'âna Gennad'evna Nikitina. *Tolkovyj slovar' âzyka Sovdepîi*. Sankt-Peterburg, Folio-Press, 1998.
- Orwell, George. *All art is propaganda. Critical essays*. New York, Harcourt, 2008.
- Perečen' svedenij, zaprešennyh k opublikovanîu v otkrytoj pečati, peredačah po radio i televideniû*. Moskva, Glavlit SSSR, 1976.
- Pereozvučennye frazy (kommentarij k video)*. Web. 12.09.2024. <https://www.221b.ru/cherdak/video/afgan/text.htm>.
- Rank, Hugh. „Conclusion: The teacher-heal-thyself myth”. *Language and public policy*. Ed. Hugh Rank. Urbana IL, National Council of Teachers of English, 1974, s. 215–234.
- Sarnov, Benedikt. *Naš sovetskij novoâz: Malen'kaâ ênciklopediâ real'nogo socializma*. Moskva, ÊKSMO, 2005.
- Scott, James C. *Domination and the arts of resistance. Hidden transcripts*. New Haven–London, Yale University Press, 1990.
- SolŹenicyn, Aleksandr. *Sobranie sočinenij. Tom pâtyj*. Moskva, Vremâ, 2010.

- Tret'ákova, Mariâ. „*Polynnaâ elka*”: knigu, kotoruû popytalis' zapretit'. Web. 16.9.2024. <https://s-to-l.com/kultura/31016-polynnaya-yelka-kniga-kotoruyu-popytalis-zapretit/>.
- Ůrčak, Aleksej. *Èto bylo navsegda, poka ne končilos'*. *Poslednee sovetskoe pokolenie*. Moskva, Novoe Literaturnoe Obozrenie, 2014.
- Ůzefovič, Galina. *Oružie slabyh. Knižnaâ cenzura i praktiki soprotivleniâ v sovremennoj Rossii*. Web. 12.09.2024. <https://carnegieendowment.org/russia-eurasia/politika/2024/07/knizhnaya-cenzura?lang=ru¢er=russia-eurasia>.
- V Rostove fotografa arestovali posle piketa s belym listom bumagi*. Web. 12.09.2024. <https://161.ru/text/gorod/2022/02/26/70473188/>.
- V Rostove sud ostavil pod arestom devušku, zaderžannuû na ulice s pustym plakatom*. Web. 12.09.2024. <https://161.ru/text/incidents/2022/03/01/70479212/>.
- Vajl', Petr, Aleksandr Genis. *60-e. Mir sovetskogo čeloveka*. Moskva, Novoe literaturnoe obozrenie, 1998.
- Vojnovič, Vladimir. *Antisovetskij Sovetskij soûz*. Moskva, Materik, 2002.
- Vysockij, Vladimir. *Sobranie sočinenij v semi tomah*. T. 3. Gamburg, Vel'ton, BBE, 1994.
- Žižek, Slavoj. *Vozvyšennyj ob"ekt ideologii*. Moskva, Hudožestvennyj žurnal, 1999.

